

ВИОРЭЛЬ МИХАЙЛОВИЧ ЛОМОВ

ПРОЗРАЧНЫЕ И
НЕПРОЗРАЧНЫЕ МЫСЛИ

Виорэль Михайлович Ломов
Прозрачные и
непрозрачные мысли

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29599784
SelfPub; 2021*

Аннотация

Досужие и иные наблюдения автора над самим собой и окружающими и вызванные ими размышления о человеческой природе.

Содержание

Мой мир	5
О памяти	6
Несколько строк о собачьей жизни	10
Голос совести	14
Мгновения вечности	15
Скованные одним льдом	20
Некоторые странности	22
Распределение ролей	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Виорэль Ломов
Прозрачные и
непрозрачные мысли

Чтобы не утонуть в себе, надо избавляться от мыслей.

Мой мир

Из мира, в котором я нахожусь, в мой внутренний мир попасть легко – это один мир. И он стоит на трех китах – на мне самом, на жизни вообще и на культуре, в которой я вырос. Если кого-то, как Робинзона, потрясет мой след, что ж, приношу заранее извинение и спешу уведомить – это не след дикаря-людоеда.

О памяти

«Память – это преодоление отсутствия», – процитировал я в своем первом романе. А что такое я? Да та же самая память. Память – это я. И вспоминая что-то, я всего-навсего преодолеваю самого себя, отсутствующего в будущем, а может, и в настоящем. Вытаскиваю как Мюнхгаузен себя за волосы из болота. То есть всё по большому счету выдумываю. При этом ни на минуту не забываю, что из прошлого можно взять лишь то, что в прошлом можно и оставить.

Я вспоминаю... Что же вижу прежде всего? Нет, не себя, не кого-то конкретно близкого. Передо мной витают образы. Они путаются – образы реально живших людей и рожденные усилием моего воспоминания. Они навязчивы, липнут, как мошка, словно я им что-то обещал. Может, они и впрямь (когда еще были теми людьми) читали во мне обещание вспомнить их, чувствовали его? Знали, что переживу и напишу о них? Что ж, если воспоминания рождены этим импульсом, я обязан вспомнить все, что обещал им, в том числе одним лишь фактом своего существования должен вспомнить о том, что поселило в них надежду.

Как странно держать в руках невесомую, неосязаемую, невидимую ткань воспоминаний, выуживать почти растворившиеся в бесконечности мгновений прошлого собствен-

ные ощущения и мысли!

Почти ничего не помню из школьных лет. Просуммировать, не набрать и месяца. Память блокирует вход в те годы, словно предохраняя от прозрений, а может быть, потрясений...

В пятом классе получил у физика Мюллера, толстого, флегматичного еврея или немца, тройку за оговорку. Сказал, что температура повысилась от минус пяти до минус семи. После этого столько было несравнимых с этой обид – их не помню, а эту запомнил! Дольше всего помнится мелкая несправедливость, но которая где-то и справедливость. Собственно, она остается навсегда, как игла в бабочке.

Мюллер запомнился тем, что съедал в буфете два стакана сметаны с двумя булочками, а еще ухаживал за рыжей десятиклассницей Ингой, белолицей в рыжих веснушках, тоненькой и гибкой, как лоза, а потом женился на ней. Лет через семь я встретил их с двумя рыжими детками. Он поздоровался, а Инга не заметила. Мюллер ссутулился, постарел. Инга раздалась в бедрах. Больше я их никогда не видел. Говорят, он умер через несколько лет. Думаю, ему тогда, отставив свое право на чувство, пришлось выдержать мощный, агрессивный напор дирекции школы и коллег.

Интересно, кроме жены и детей, кто-нибудь помнит его?

Вообще мало помню чего из своего прошлого, меньше,

чем из некоторых фильмов. «Гамлет» Григория Козинцева или «Идиот» Ивана Пырьева остались яркими главами моей жизни, а многие события, имевшие отношения непосредственно ко мне, стерлись или помнятся как невзрачные лирические отступления или сноски внизу текста...

Каждая страна видится такой, какой помню ее по фильмам юности. Италия, например, черно-белая. Городская площадь в маленьком городке. Очень много камня, а на нем как божьи коровки люди. Мужчины, млея от безделья и скуки, попивают кофе, провожая клейкими взглядами редких женщин. Те и похожи и не похожи на итальянок: тонкие, гибкие, высокие. Мухи дохнут на лету от липкого зноя, тягучести каждой секунды. Или – другой эпизод: узкая, извилистая, крутая каменистая улочка, наполненная потоком шумящей карнавалом толпы. Тут уже появляется цвет, но залпами салюта, фейерверком. Или – совершенно сумасшедшая семейка – десятка два орущих родственников разных возрастов и образования, но одного воспитания, дед-придурак в коляске, плач, слезы, клятвы, ругань. То ли украли из тумбочки последние сольдо, то ли потеряла последнюю честь пятнадцатилетняя ссыкуха, и эти сольдо и честь все так бешено ищут, будто надеются найти. И в этом бедламе неважен цвет, там и так все горит... Но в то же время знаю: есть небо и море Италии, которые так любил Феличе Риварес, Овод, и так ненавидел Спартак.

Говорят, что жизнь – всего лишь воспоминания. Воспоминания собственных ощущений. Но почему тогда я вспоминаю то, чего не было со мной, чего я не переживал ни в опыте, ни умозрительно? Видимо, жизнь – не только воспоминания, жизнь – попытка увидеть ее такой, какой сотворил ее Господь. И счастье, когда хоть краем глаза удастся это подсмотреть. Это счастье познали Эдип и Гомер, и еще многие, прозревшие в своей слепоте.

Пожалуй, запомнились переживания, благодаря которым избавлялся капля за каплей от собственной глупости. Сколько лет переживал по поводу того, что мой ирландский сеттер, красавица Молли, которой покровительствовал главный ризеншнауцер Железнодорожного района, гуляя без привязи, ведет себя не так, как мне хотелось бы, не по-девичьи: убегает от меня, пьет из луж, подбирает всякую гадость, радостно лает на весь мир. А потом, когда ее карие глаза навеки покрылись непроницаемой пленкой, меня осенило: а сам-то я – разве не так же бегу сломя голову черт-те куда? Сам-то я пью, ем и говорю одно лишь непотребство, и чем я лучше собаки? Вот только ей этого уже не скажешь и не погладишь ее по шелковистой шерсти...

Несколько строк о собачьей жизни

В немецкой книге о собаках прочитал, что ирландский сеттер – очень мужественная собака и лучший друг лошади. И когда Молли лезла под кровать от салюта и от испуга лаяла на лошаaddock, я вполне авторитетно заявлял ей: «Молли! Не будь хуже того, чем ты должна быть!» Она слушала и лезла под кровать, и лаяла на коня.

«Молли, – продолжал я, чтобы хоть как-то отвлечь ее от der Mut (мужества), – хочешь быть членом Союза писателей России? Или композиторов? Подавай заявление. Я тебе рекомендацию напишу. Представь: ты член СП или СК. Ты там будешь самой мужественной и красивой».

Молли, трясаясь, глядела на меня, дышала, высунув язык, думала.

Приснился сон.

Молли покакала в углу. Дочь стыдит ее.

Молли:

– Тебе что, не нравится, где я покакала?

Аня:

– А ты разве умеешь говорить?

– Умею.

– А что же не говорила?

– А ты меня не спрашивала ни о чем.

Долго разговаривали.

– Хочешь, я в другом месте буду какать? – предложила

Молли.

– Надо подумать, – сказала Аня.

Этот сон помню лучше всей своей трудовой биографии.

Собаке надо обязательно свои деяния хоть на другой стороне улицы, но закопать. Это собачий талант. Чтобы Молли не пачкала лапы в земле, я ей запрещал делать это. Как-то поймал себя на том, что говорю: «Спасибо. Копать не надо».

На прогулке свой круг собачников. Знакомых выбираешь не по своему вкусу, а по собачьему. Ведь это не мы выгуливаем собак, а они нас. Всех собак знаешь по именам, а собачников как «папа Джеффри» или «тот, что с Джеффри» и почти никогда «хозяин Джеффри».

Типичный разговор:

– Это не вы лаяли? – спрашивает «мама Лили».

– Нет, он, – указываю на «папу Джеффри».

– У вашей красавицы чудная расцветка! Красили?

– Я – нет. Может, жена?

На прогулке часто встречаю пожилого мужчину с песиком Блейком. Каждый раз он бодро спрашивает, указывая на ищущую по кустам и на асфальте всякую гадость Молли: «Что она ищет?.. А, счастье ищет!». И в глазах «папы Блей-

ка» появляется печаль.

Глянул Молли в глаза и увидел в них ответ на мучивший меня вопрос: есть сейчас, и больше ничего. И будь добр ко мне сейчас, так как завтра может и не быть.

Собаки стареют незаметно. Как-то дернул поводок – не туда пошла, совсем не сильно, а Молли упала на асфальт. Гляжу, а она старенькая совсем. Будто старушку повалил, и так нехорошо стало на душе.

Утром, еще в потемках, вышел с Молли на прогулку. Вдруг передо мной по асфальту в жидком свете фонаря проползла серая тень, а над головой прошелестели крылья. Пакет пролетел. Большой и желтый. Молли мужественно поджала хвост, а мне так жутко стало, будто крылья те подхватили и унесли ее в небытие.

Пригляделся к Молли, как она с трудом спускается по лестнице, как с трудом ложится и встает с пола, как тяжело бежит, как часто с тоской глядит на меня, будто прощается навеки, и так стало жалко ее! Ведь с ней прошла не самая худшая пора моей жизни, тринадцать лет. Для нее я – вообще вся ее жизнь, а может, даже ее мир.

Собаки, в отличие от нас, людей безучастных к окружаю-

щим, остаются преданными до конца. Мы не в состоянии это понять при их жизни. Собаки могут пробудить в человеке совесть, потому что она есть в них самих.

Молли умерла. Ветеринар сказал: ей очень больно, не мучайте собаку, усыпите, уже ничто не поможет. Отвез в ветеринарную клинику, и там ее, бедняжку, усыпили. Этот проклятый миг, когда жизнь ввинчивается в воронку собачьих глаз! Как-то все теряет смысл. Угрызения совести мучают тогда, когда уже поздно. Хоть и совести той осталось наполовину.

Голос совести

Во многих ли сидит демон Сократа – императивный голос совести? Сократ предвосхитил Христа-человека. Отдал жизнь, тело, чтобы доказать палачам и вообще всему миру, что есть нечто более высокое, что нельзя убить: дух.

Мгновения вечности

Хозяин с собакой на поводке. Собака послушно идет рядом с ним, мусолит в зубах поводок. И я, как эта собака, иду на привязи – он только невидим, этот поводок, как невидим и хозяин, мусолю путы, но не могу их перегрызть.

Не прошло и пяти минут после этого, и возле стены банка я увидел то ли разбившуюся, то ли раненую птицу, но такую красивую, умирающую, что просто стало жутко.

Когда по рецепту Чехова выжмешь из себя раба, в сухом остатке найдешь кого угодно, только не господина. Может, даже осознаешь, что пьянило-то в жизни именно это рабское содержание. Пьянило, потому что рвалось к свободе.

Боги подписывают себе смертный приговор, когда отпускают людей на свободу.

Какое искушение – вернуться к истокам и понять, почему свернул на этот путь, а не на другой, понять не «задним» умом, а тогдашним, молодым и незрячим, который, однако, был единственный, и которому безоговорочно доверял. А еще почувствовать то неуловимое, что подвигло на это, и что потом всю жизнь никак не мог ни уловить, ни поймать.

Пронзительность мгновений понимаешь через много лет, когда они почти полностью лишаются своей материальной силы и способности убить, заморозить, привести дух в иступление. В само же мгновение вряд ли кто способен не только оценить, а даже и понять его. Почему в старости так много и так охотно пишут мемуары и перелицовывают дневники? Да потому что это не доставляет авторам почти никаких нравственных или физических страданий, позволяя им приобщиться к великим силам природы, некогда так возмущившим и взбудоражившим их, и еще чему-то непонятному. Приобщиться и вновь испытать хотя бы смутное ощущение потрясения и уронить видимую миру лицемерную слезу.

Если попытаться подсчитать число этих мгновений – думаю, десяти пальцев хватит, и это число у всех людей примерно одно и то же и оно не зависит ни от интеллекта, ни от образования, ни от века, ни от земли. Лучше всего эти мгновения описать эфемерным словом «счастье». Хотя счастье – всего лишь ожидание, а для кого-то простой перечень обязанностей. «Мгновенье! О, как прекрасно ты, повремени!» Помню, как меня в юности удивило и даже озадачило признание одного престарелого шаха – у которого в жизни было все, мир лежал у его ног! – он испытал всего несколько мгновений счастья! Несколько! В юности несколько я воспринимал как ничего. Об этом я вычитал у Гельвеция в ту пору, когда полагал, что ум – это главное, что должно быть в человеке. Сегодня я трезво воспринимаю слова шаха и по-

нимаю зависть самого Гельвеция – это очень, очень много!

Потому что —

для простого счастья надо
в жизни выбрать из всего
каплю меда, каплю яда,
каплю времени всего.

Порой охватывает ужас, и себя чувствую одиноким мальчишкой, покинутым всеми. Только что меня учили главному: ходить, падать и подниматься. И вот все ушли куда-то или остались где-то, а я здесь один среди чужих людей, беспомощный и не имеющий ни сил, ни желания бороться за эту жизнь. За чужую жизнь, так как моя лежит совсем в других краях, совсем в иных временах.

В детстве бредешь по отмели и вдруг наступишь на пескочаря. И он с такой яростью рвется из-под стопы, что потом всю жизнь помнишь об этом и думаешь: «Каков!» И кто его знает, не подумаешь ли в самом конце: «А ведь тот пескочарь – я!»

Каждая секунда, на которую нечаянно наступил, оставляет точно такую же память. А не наступил – и вспомнить нечего.

Скамья под черным небом детства. Звезды, луна, листва. Огоньки папирос, шаги, свежий ветерок с реки. Мгновение

ощущается как бы охватывающим годы и десятилетия во все стороны, и в ту, куда идешь ты, и совсем в другие. Счастье – знать, что потом – безмерно.

Лет в шесть, может, в семь, я задал матери странный вопрос (по-настоящему он меня никогда не волновал): как делать карьеру. Мама ответила:

– Ступай за город, сынок. Когда закончится асфальт и пойдет свалка, а затем болота, тропинка поведет тебя по унылой местности в гору, все выше и выше. И когда ты окажешься на высоте, с которой будет страшно глянуть вниз, тебе то и дело придется с этой тропинки сталкивать всех, кто идет тебе навстречу или обгоняет тебя. Не сбросишь ты, сбросят тебя. Вот это и есть карьера.

В детстве меня поразила бабушка, бесстрастно отпевавший кого-то из своих близких. Будто он отпевал не своего родственника, и даже не человека, а некий неодушевленный предмет. Впрочем, так оно и было. Он на много лет внес сумятицу в мое сердце.

Помню площадку, закрытую дверь. Верхняя треть двери из непрозрачного стекла. За дверью Евдокия Анисимовна, первая моя учительница, пишет на доске тему первой моей контрольной. Какой предмет, какой класс – не помню, как не помню лиц, слов. Мы все притихшие, взволнованные грядущим.

щим испытанием, такие маленькие. А потом она растворяет дверь, запускает всех. Сама торжественно-грустная. Помню силуэты и атмосферу, а еще голубовато-желтый свет. Это свет памяти, или тогда, действительно, на площадке был голубой свет, а в двери желтый? Или он лился из зимних окон? Это был, кажется, второй этаж. Большие-большие окна, выходящие на восток. А жизнь наша тем временем стремительно неслась на запад, обгоняя солнце, обгоняя наши мысли.

Бывают минуты, часы, даже дни, когда ощущаешь себя дрожащим, льющимся нескончаемым звуком скрипки, от которого безумно устал, но без которого не сможешь больше жить.

Иногда во сне приснится какая-нибудь чушь, и потом весь день не можешь вспомнить, какая. Уснешь – а она снова приснится. И еще один день пропадет непонятно на что. А люди смотрят со стороны и думают: чем-то высоким занят человек.

Вспоминая, словно идешь босиком вдоль Волги по раскаленному песку, в котором битое стекло.

Скованные одним льдом

В институте я бредил наукой и с юношеским максимализмом разделил все профессии, имеющие отношение к науке, на две категории – для «белой» и для «черной» кости. Белой была теория, сфера духа и неба, а черной – практика, сфера жизнеустройства и земли. Среди этих профессий не оказалось почти ничего, что потом пришлось в жизни испытать. Это испытанное третье вовсе не было серым или пегим, и уж никак не бесцветным, и оно в моей классификации по-прежнему имело белый и черный цвет, но уже по другой причине: то, что приносило людям несомненную пользу, было белым, а что вред – черным. Скажем, презираемым, черным, и тогда и сегодня для меня были торговля и гешефт. Тут ничего не поделаешь, я принадлежу не себе, а как собака – определенной породе, и для меня ничего в жизни не меняется, я гляжу на жизнь все теми же собачьими глазами, и люблю или ненавижу в ней все тем же собачьим сердцем.

Не изменилось, например, и мое отношение ко всему, что имеет отношение к слову «публичный». Я считал всегда, что быть публичным – не только недостойно, но и противно моему естеству. Это по моей классификации из разряда «черного», того, что на продажу. Вышел на трибуну и демонстрируешь свои прелести, как красотка не первой свежести. Встанешь перед чужими людьми, поднимешь глаза, оторвешься

от мыслей, и зал из теплого, наполненного шумом и любопытными взглядами, тут же становится холодным и тихим, как глыба льда. Начинаешь говорить, а слова тоже холодные, и в груди холод. И это не от комплексов, а от понимания того, что ты для зрителей жалок и смешон, будь ты хоть Чарли Чаплин, хоть Черчилль. А потом одна досада – зачем вылез, зачем говорил? Удивительно, как много людей живет, скованных всю жизнь этим льдом!

Много чего изменилось в мире внешнем, но совсем не жаль, что моя порода стала не востребовавшей и перешла в разряд дворняжек, досадно лишь, что собачьи свадьбы водят теперь даже не таксы и спаниели, а карликовые пинчеры, тойтерьеры и родные сердцу чи-хуа-хуа.

Некоторые странности

Странно, можно достичь чего-либо, только преодолевая себя. Стоит поплыть по течению, чувствуя при этом гармонию с миром, – это путь никуда.

На первой еще несовершенной клавиатуре моего компьютера почему-то первой стерлась буква я – а ведь я о себе пишу редко, почти никогда. Стыдно о себе писать, разве что с иронией или издевкой. Хотя для каждого человека его «я» – наверное, единственный, кого не хватает вокруг. Я проявляется в каждом слове, где есть эта буква, как, например, в названии реки Яя. Она течет где-то в Кузнецком Алатау и несет не просто свои воды, а и неумную человеческую гордыню.

Буква стерлась скорее всего потому, что все мои персонажи говорят о себе. О ком же еще им говорить, если они крутятся вокруг собственной оси – эгоизма, славной головоногой буквы я?

Странного в моей жизни, кроме нее самой, ничего не было. Удивительным образом я ее никогда не ощущал. Не чувствовал, не понимал, не мог составить о ней никакого мнения. Оглядываясь назад, отчетливо вижу себя и жизнь, как два разных и не пересекающихся друг с другом пути. Не знаю, как другие люди воспринимают свою жизнь, может,

они и вовсе не думают о ней, а я не могу взять в толк: как она, достаточно долгая, наполненная разными событиями умудрилась пройти мимо меня? Или это я проскочил, не заметив ее? Но – как? Ведь я каждый день жил в ней? Множество сверстников заняли «свои» места в жизни – это вполне закономерный результат их устремлений, завоеваний, суеты, подлости, удачи. А я свое никак не чувствую «моим». Может, я занял чужое? А где же мое место? Может, кто-то из них занял его? Кто? Зачем? И что он там делает вместо меня? И куда мне теперь деваться и что делать? Или поздно что-то уже начинать, а скорее бы довершить то, что еще не начал? Ответа нет. Да он мне и не нужен.

Я никогда не мог понять тех, кто еще на заре туманной юности очертя голову кинулся в гущу жизни, пытаясь положить на лопатки толпу и выхватить изо рта кусок пирога, уже отравленный чужой слюной.

Мне никогда не быть среди тех, кто судит, среди тех, кто управляет, среди тех, кто правит бал, среди тех, кто на этом балу танцует. Мне никогда не упиваться весельем на чумном пиру, и никогда не грызть каштаны, которые все вокруг таскают из жара. Мне плевать на звания и успех, мне противны бездари на окладе власти и бездари на трудовых грошах еще больших бездарей, чем они. Мне по большому счету все равно, что обо мне скажут, мне, может быть, не безразлично только одно: я не хотел бы стать в чужих или собственных глазах подлецом.

Странно смотреть на фотографию умершего человека, всю жизнь озабоченного только тем, как от нее получить больше. И вот когда он получил от нее всё и застыл на фотографии в своей черно-белой или цветной глупости, как мошка в янтаре, удивительно, что с лица его так и не сошла жадность. Прости мне, Господи, эти слова, они не плохие и не хорошие. Они – никакие. Они – ни о ком. Они – просто о человеке и его глупости. Они – в том числе, и обо мне.

Распределение ролей

Поскольку я пишу прозу, то иногда заставлял себя обратить внимание на «роль пейзажа в романе». Не получалось. Видел дорогу, реку, мост через нее, тот берег в деревьях, луг, над всем этим небо, и это казалось мне настолько естественным, что давно уже не играло никакой роли. Было и было. Было, как моя жизнь, было, как жизнь вообще. Разве мы задумываемся о роли самой жизни в нашей жизни? О данности не задумываешься. О данности забываешь. И начинаешь думать о том, что не дано тебе или дано не тебе. И если первое называется мечтой, то второе – грехом, так как именно мысли отравляют человека завистью и гордыней.

О чем в последнее время я думал? О политиках и финансовых «пирамидах», о бандитизме и ЖКХ, о гламуре и беспределе ТВ, короче – об одних только ужасах. Не о мире и душе, не о прекрасном и добром – а только о черном и только о зле.

А ведь вся моя жизнь проходила на земле, где и в помине нет ничего того, о чем я так упорно и зло думал все это время. Что же, я понапрасну растратил мое время, выкинул пятнадцать лет в помойку чужих тщеславий, в костер чужих амбиций, и порывы души посвятил не миру людей моего круга, а войне нелюдей вне его?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.